## Негодное правило

О. Генри

Перевод М. Лорие

Я всегда был убежден, и время от времени заявлял вслух, что женщина — вовсе не загадка, что мужчина способен понять, истолковать, перевести, предсказать и подчинить ее. Представление о женщине как о некоем загадочном существе внушили доверчивому человечеству сами женщины. Прав я или нет — увидим. Как писал в былые времена журнал «Харперс», «ниже следует интересный рассказ про мисс \*\*, мистера \*\*, мистера \*\* и мистера \*\*». «Епископа X» и «его преподобие Y» придется опустить, потому что они к делу не относятся.

В те дни Палома была новым городом на Южной Тихоокеанской железной дороге. Репортер сказал бы, что она «выросла, как гриб», но это было бы неточно: Палому, несомненно, следует отнести к разновидности поганок.

Поезд останавливался здесь в полдень, ровно на столько времени, чтобы паровоз успел напиться, а пассажиры — и напиться и пообедать. В городе была новенькая бревенчатая гостиница, склад шерсти и десятка три жилых домов; а еще — палатки, лошади, черная липкая грязь и мескитовые деревья. Городскую стену заменял горизонт. Паломе, в сущности, еще только предстояло стать городом. Дома ее были верой, палатки — надеждой, а поезд, два раза в день предоставлявший вам возможность уехать отсюда, с успехом выполнял функции милосердия.

Ресторан «Париж» был расположен в самом грязном месте города, когда шел дождь, и в самом жарком, когда светило солнце. Владельцем, заведующим и главным виновником его был некий гражданин, известный под именем «старика Хинкла», который прибыл из Индианы, чтобы нажить себе богатство в этом краю сгущенного молока и сорго.

Семья Хинкл занимала некрашеный тесовый дом в четыре комнаты. К кухне был пристроен навес на столбах, крытый ветками чапарраля. Под навесом помещался стол и две скамьи, каждая в двадцать футов длиной, изготовленные местными плотниками. Здесь вам подавали жареную баранину, печеные яблоки, вареные бобы, бисквиты на соде, пудинг-или-пирог и горячий кофе, составлявшие все парижское меню.

У плиты орудовали мама Хинкл и ее помощница, которую все знали на слух как Бетти, но никто никогда не видел. Папа Хинкл, наделенный огнеупорными пальцами, сам подавал дымящиеся яства. В часы пик ему помогал обслуживать посетителей молодой мексиканец, успевавший между двумя блюдами свернуть и выкурить папиросу. Следуя порядку, установленному на парижских банкетах, я ставлю сладкое в самом конце моего словесного меню.

Айлин Хинкл!

Орфография верна, я сам видел, как она писала свое имя. Без всякого сомнения, оно было выбрано из фонетических соображений; но и нелепое написание его она сносила с таким великолепным мужеством, что и самому строгому грамматисту не к чему было бы придраться.

Айлин была дочерью старика Хинкла и первой красавицей, проникнувшей на территорию к югу от линии, проведенной с востока на запад через Галвестон и Дель-Рио. Она восседала на высоком табурете, на трибуне из сосновых досок — не в храме ли, впрочем? — под навесом, у самой двери на кухню. Перед Айлин была загородка из колючей проволоки, с небольшим полукруглым отверстием, куда посетители просовывали деньги. Одному богу известно, зачем понадобилась эта колючая проволока; ведь каждый, кто питался парижскими обедами, готов был умереть ради Айлин. Обязанности ее не отличались сложностью: обед стоил доллар, этот доллар клался под дужку, а она брала его.

Я начал свой рассказ с намерением описать вам Айлин Хинкл. Но вместо этого мне придется отослать вас к философскому трактату Эдмунда Бэрка под заглавием «Происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном». Этот трактат вполне исчерпывает вопрос; сначала Бэрк касается древнейших представлений о красоте; если не ошибаюсь, он связывает их с впечатлениями, получаемыми от всего круглого и гладкого. Это хорошо сказано. Закругленность форм — бесспорно, привлекательное качество; что же касается гладкости, то чем больше морщин приобретает женщина, тем больше сглаживаются неровности ее характера.

Айлин была чисто растительным продуктом, запатентованным в год грехопадения Адама, согласно закону против фальсификации бальзама и амброзии. Она напоминала целый фруктовый ларек: клубнику, персики, вишни и т. д. Блондинка с широко посаженными глазами, она обладала спокойствием, предшествующим буре, которая так и не разражается. Но мне кажется, что не стоит тратить слов (сколько бы ни платили за слово) в тщетной попытке изобразить прекрасное. Красота, как известно, рождается в глазах. Есть три рода красоты... мне, видно, было на роду написано стать проповедником: никак не могу держаться в рамках рассказа.

Первый — это веснушчатая, курносая девица, к которой вы неравнодушны, второй — это Мод Адамс[[1]](#footnote-1), третий — это женщины на картинах Бугеро[[2]](#footnote-2). Айлин принадлежала к четвертому. Она была безупречно красива. Не одно, а тысячу золотых яблок присудил бы ей Парис.

Ресторан «Париж» имел свой радиус. Но даже из-за пределов описанной им окружности приезжали в Палому мужчины в надежде получить улыбку от Айлин. И они получали ее. Один обед — одна улыбка — один доллар. Впрочем, несмотря на все внешнее беспристрастие, Айлин как будто отличала среди всех своих поклонников трех джентльменов. Подчиняясь правилам вежливости, я упомяну о себе под конец.

Первым ее обожателем был чисто искусственный продукт, известный под именем Брайана Джекса, явно присвоенным. Джекса породили вымощенные камнем города. Это был маленький человечек, сфабрикованный из какой-то субстанции, напоминающей мягкий песчаник. Волосы у него были цвета того кирпича, из которого строятся молитвенные дома квакеров; глаза его напоминали две клюквы; рот был похож на щель почтового ящика.

Он изучил все города от Бангора до Сан-Франциско, а оттуда к северу до Портленда, а оттуда на юго-восток, вплоть до данного пункта во Флориде. Он знал все искусства, все промыслы, все игры, все коммерческие дела, все профессии и виды спорта, какие только есть на земле; он присутствовал лично на всех сенсационных, печатаемых под большими заголовками, событиях, которые произошли между двумя океанами с тех пор, как ему минуло пять лет; а если не присутствовал на них, так, значит, спешил к месту происшествия. Можно было открыть атлас, ткнуть пальцем наугад в любой город, и, до того как вы успевали захлопнуть атлас, Джекс уже называл вам уменьшительные имена трех известных граждан этого города. Он свысока, и даже довольно непочтительно, отзывался о Бродвее, Бикон-Хилле, Мичигане, Эвклиде, Пятой авеню и здании суда в Сент-Луисе. По сравнению с ним даже такой космополит, как Вечный Жид, показался бы отшельником. Он научился всему, что только мог преподать ему свет, и всегда готов был поделиться своими познаниями.

Я не люблю, когда мне напоминают про поэму Поллока «Течение времени»; но при виде Джекса мне всякий раз приходит на память то, что этот поэт сказал про другого поэта по имени Дж. Г. Байрон: «Он рано начал пить, он много пил, миллионы жажду утолить могли бы тем, что выпил он; а выпив все, от жажды бедный умер»[[3]](#footnote-3).

То же можно сказать про Джекса, только он не умер, а приехал в Палому, что, впрочем, почти одно и то же. Он служил телеграфистом и начальником станции за семьдесят пять долларов в месяц. Каким образом молодой человек, знавший все и умевший все делать, довольствовался такой скромной должностью — этого я никогда не мог понять, хотя он как-то раз намекнул, что делает это в виде личного одолжения президенту и акционерам железнодорожной компании.

Прибавлю к моему описанию еще одну строчку, а затем передам Джекса в ваше распоряжение. Он носил ярко-синий костюм, желтые башмаки и галстук бантом из одинаковой материи с рубашкой.

Вторым моим соперником был Бэд Кэннингам; одно ранчо близ Паломы пользовалось его услугами, чтобы удерживать непокорный скот в границах порядка и приличий. Из всех ковбоев, которых я когда-либо видел в натуре, один только Бэд был похож на театрального ковбоя. Он носил классическое сомбреро, кожаные гетры выше колен и платок на шее, завязанный сзади.

Два раза в неделю Бэд покидал ранчо Валь Верде и приезжал поужинать в ресторане «Париж». Он ездил на тугоуздой кентуккийской лошадке, которая мчалась необычайно скорым аллюром; Бэд любил останавливать ее под большим мескитовым деревом у навеса с такой внезапностью, что копыта ее оставляли в жирной глине глубокие борозды в несколько ярдов длиной.

Мы с Джексом были, разумеется, постоянными посетителями ресторана.

Во всей стране вязкой черной грязи вы не нашли бы более уютной гостиной, чем в домике у Хинклов. Она была полна плетеных качалок, вязаных салфеточек собственной работы, альбомов и расположенных в ряд раковин. А в углу стояло маленькое пианино.

В этой комнате Джекс, Бэд и я, — а порой один или двое из нас, смотря по удаче, — сиживали по вечерам. Когда деловая жизнь замирала, мы приходили сюда «с визитом» к мисс Хинкл.

Айлин была девушкой со взглядами. Судьба предназначала ее для чего-то высшего, если вообще может быть призвание более высокое, чем целый день принимать доллары через отверстие в загородке из колючей проволоки. Она читала, прислушивалась ко всему и размышляла. С ее красотой менее честолюбивая девушка на одной наружности сделала бы карьеру; но Айлин метила выше: ей хотелось устроить у себя нечто вроде салона — единственного во всей Паломе.

— Не правда ли, Шекспир был великий писатель? — спрашивала она, и ее хорошенькие бровки так мило поднимались, что если бы их увидел сам покойный Донелли, ему едва ли удалось бы спасти своего Бэкона[[4]](#footnote-4).

Айлин была также того мнения, что Бостон — более культурный город, чем Чикаго; что Роза Бонер была одной из величайших художниц в мире; что на Западе люди отличаются большей откровенностью и сердечностью, чем на Востоке; что в Лондоне, по-видимому, часто бывают туманы и что в Калифорнии, должно быть, очень хорошо весной. У нее было и еще множество взглядов, доказывавших, что она следит за всеми выдающимися течениями современной мысли.

Впрочем, все эти мнения она приобрела понаслышке и с чужих слов. Но у Айлин были и собственные теории. Одну из них в особенности она постоянно нам внушала. Она ненавидела лесть. Искренность и прямота в речах и поступках, уверяла она, вот лучшие украшения как для женщины, так и для мужчины. Если она когда-нибудь полюбит, то лишь человека, обладающего этими качествами.

— Мне ужасно надоело, — сказала она как-то вечером, когда мы, три мушкетера мескитного дерева, сидели в маленькой гостиной, — мне ужасно надоело выслушивать комплименты насчет моей наружности. Я знаю, что я вовсе не красива.

(Бэд Кэннингам мне впоследствии говорил, что он едва удержался, чтобы не крикнуть ей: «Врете!»)

— Я просто обыкновенная девушка с Среднего Запада, — продолжала Айлин, — мне хочется одного: всегда быть просто, но аккуратно одетой и помогать отцу зарабатывать себе на хлеб.

(Старик Хинкл каждый месяц откладывал в банк в Сан-Антонио по тысяче долларов чистого барыша.)

Бэд заерзал на своем стуле и пригнул поля своей шляпы, с которой его никак нельзя было уговорить расстаться. Он не знал, чего она хочет: того, что говорит, будто хочет, или же того, что, как ей было отлично известно, она заслуживает. Немало умных людей становилось в тупик перед таким вопросом. Бэд, наконец, решился:

— Видите ли, мисс Айлин, э-э... красота, можно сказать, еще не все. Я не хочу этим сказать, что у вас ее нет, но меня лично всегда особенно восхищало в вас ваше отношение к папаше и мамаше. А когда девушка так внимательна к своим родителям и любит семейную жизнь, то она и не нуждается в какой-нибудь особенной красоте.

Айлин подарила ему одну из своих нежнейших улыбок.

— Благодарю вас, мистер Кэннингам, — сказала она. — Давно уж я не слышала лучшего комплимента. Это мне куда приятнее, чем выслушивать, как восхищаются моими глазами или волосами. Я рада, что вы мне верите, когда я говорю, что не люблю лести.

Теперь мы поняли, как надо было действовать. Бэд ловко угадал. Джекс вступил следующим.

— Это что и говорить, мисс Айлин, — сказал он. — Не всегда побеждают красавицы. Вот вы — разумеется, вас никто не назовет некрасивой, но это несущественно. А я знал в Дюбюке одну девушку: лицо у нее было что твой кокосовый орех; но она умела два раза подряд сделать на турнике «солнце», не перехватывая рук. А другая, глядишь, ни за что этого не сделает, хотя бы у нее на цвет лица пошел весь урожай персиков в Калифорнии. Я видел девушек, которые... э-э... хуже выглядели, чем вы, мисс Айлин; но что мне нравится в вас, так это ваша деловитость. Вы всегда поступаете умно, никогда не теряетесь: далеко пойдете. Мистер Хинкл на днях говорил мне, что вы ни разу не приняли фальшивого доллара, с тех пор как сидите в кассе. По-моему, вот такой и следует быть девушке; вот что мне по вкусу.

Джекс тоже получил улыбку.

— Благодарю вас, мистер Джекс, — сказала Айлин. — Если бы вы только знали, как я ценю, когда со мной искренни и когда мне не льстят. Мне так надоело, что меня называют хорошенькой. Так приятно, по-моему, иметь друзей, которые говорят тебе правду.

Тут Айлин посмотрела на меня, и мне показалось по ее взгляду, что она и от меня чего-то ждет. Мною овладело страстное желание бросить вызов судьбе и сказать ей, что из всех прекрасных творений великого мастера самое прекрасное — она; что она — бесценная жемчужина, сверкающая в оправе из черной грязи и изумрудных прерий; что... что она девушка первый сорт. Мне захотелось уверить ее, что мне все равно, будь она безжалостна к своим родителям, как жало змеи, или не умей она отличить фальшивого доллара от седельной пряжки; что мне хочется лишь одного: петь, воспевать, восхвалять, прославлять и обожать ее за ее несравненную, необычайную красоту.

Но я воздержался. Я убоялся той участи, что грозила льстецам. Ведь я видел, как ее обрадовали хитрые и ловкие речи Бэда и Джекса. Нет. Мисс Хинкл не из тех, кого могут покорить медовые речи льстеца. И потому я решил примкнуть к прямым и откровенным. Я сразу впал в лживый дидактический тон.

— Во все века, мисс Хинкл, — сказал я, — несмотря на то что у каждого из них была своя поэзия, своя романтика, люди всегда преклонялись перед умом женщины больше, чем перед ее красотой. Даже если взять Клеопатру, то мы увидим, что мужчины находили больше очарования в ее государственном уме, чем в ее наружности.

— Еще бы, — сказала Айлин. — Я видела ее изображение, ну и ничего особенного. У нее был ужасно длинный нос.

— Разрешите мне сказать вам, мисс Айлин, — продолжал я, — что вы напоминаете мне Клеопатру.

— Ну, что вы, у меня нос вовсе не такой длинный, — сказала она, широко раскрыв глаза, и изящно коснулась своего точеного носика пухленьким пальчиком.

— То есть, я... я имел в виду, — сказал я, — ее умственное превосходство.

— Ах, вот что! — сказала она, и затем я тоже получил свою улыбку, как Бэд и Джекс.

— Благодарю вас всех, — сказала она очень, очень нежным тоном, — благодарю вас за то, что вы со мной говорите так искренно и честно. И пусть так будет всегда. Говорите мне просто и откровенно, что вы думаете, и мы все будем наилучшими друзьями. А теперь, за то, что вы так хорошо со мной поступаете, за то, что вы поняли, как я ненавижу людей, от которых слышу одни комплименты, — за все это я вам спою и поиграю.

Разумеется, мы выразили ей нашу радость и признательность; но все же мы предпочли бы, чтобы Айлин осталась сидеть в своей низкой качалке и позволила нам любоваться собой. Ибо она далеко не была Аделиной Патти, — даже во время самого прощального из прощальных турне этой прославленной певицы. У Айлин был маленький воркующий голосок вроде голубиного; он почти заполнял гостиную, когда окна и двери были закрыты и Бетти не очень сильно гремела конфорками на кухне. Диапазон ее равнялся, по моему подсчету, дюймам восьми клавиатуры; а когда вы слушали ее рулады и трели, вам казалось, что это булькает белье, которое кипятится в чугунном котле у вашей бабушки. Подумайте, как красива она была, если эти звуки казались нам музыкой!

Музыкальные вкусы Айлин отличались ортодоксальностью. Она норовила пропеть насквозь всю кипу нот, лежавшую на левом углу пианино: зарезав какой-нибудь романс, она перекладывала его направо. На следующий день она пела справа налево. Ее любимыми композиторами были Мендельсон, а также Муди и Сэнки[[5]](#footnote-5). По особому желанию публики она заканчивала программу песенками «Душистые фиалки» и «Когда листья желтеют».

Когда мы уходили от Хинклов — часов в десять вечера, — мы обыкновенно отправлялись к Джексу на маленькую, всю из дерева выстроенную станцию. Там мы усаживались на платформе и болтали ногами, а сами старались выведать друг у друга, в какую сторону больше склоняется сердце мисс Айлин. Таков уж обычай соперников: они вовсе не избегают друг друга и не обмениваются злобными взглядами; нет, они сходятся, сближаются и сговариваются; они пускают в ход дипломатическое искусство, чтобы оценить силы неприятеля.

Как-то раз в Паломе появилась темная лошадка — некий молодой адвокат; он сразу же завел себе огромную вывеску и начал чваниться. Звали его Винсент С. Вэзи. Стоило только взглянуть на него — и становилось ясно, что он недавно окончил юридический факультет где-нибудь на Юго-Востоке. Его длинный сюртук, светлые полосатые брюки, черная мягкая шляпа и узкий белый галстук кричали об этом громче всякого аттестата. Вэзи был смесью из Дэниэля Вебстера, лорда Честерфилда, Бо Брюммеля и Джека Хорнера — того мальчика из детской песенки, который ловко доставал лакомые кусочки. Появление его вызвало в Паломе бум. На другой день после его приезда большая площадь земли, прилегающая к городу, была обмерена и разделена на участки.

Разумеется, Вэзи нужно было, ради карьеры, сойтись с паломскими гражданами и с окрестными жителями. Ему нужно было снискать популярность не только среди зажиточных людей, но и среди местной золотой молодежи. Благодаря этому имели честь с ним познакомиться и мы с Джексом и Бэдом.

Учение о предопределении оказалось бы совершенно дискредитированным, если бы Вэзи не встретился с Айлин Хинкл и не стал четвертым участником турнира. Он важно столовался в отеле из сосновых бревен, а не в ресторане «Париж»; но он стал угрожающе часто посещать хинклскую гостиную. Конкуренция эта вдохновила Бэда на потоки изысканной ругани, а Джекса — на жаргон самого фантастического свойства, который звучал ужаснее самых отборных проклятий Бэда и вогнал меня в мрачную, немую тоску.

Ибо Вэзи обладал красноречием. Слова били у него из уст, как нефть из фонтана. Гиперболы, комплименты, восхваления, одобрения, вкрадчивые любезности, лестные намеки, явные панегирики — всем этим так и кишели его речи. Надежды на то, чтобы Айлин устояла против его ораторского искусства и длинного сюртука, у нас было весьма немного.

Но настал день, который придал нам мужества.

Как-то раз в сумерки я сидел на маленькой террасе перед гостиной Хинклов и ждал Айлин. Вдруг я услыхал голоса в комнате. Айлин вошла туда вместе с отцом, и у них начался разговор. Я уже раньше замечал, что старик Хинкл был человек неглупый и не лишенный известного философского взгляда на вещи.

— Айлин, — сказал он, — я заметил, что за последнее время тебя постоянно навещают три-четыре молодых человека. Кто из них тебе больше нравится?

— Да знаешь, папа, — ответила она, — они мне все очень нравятся. По-моему, мистер Кэннингам и мистер Джекс и мистер Гаррис очень симпатичные. Они всегда так прямо и искренно говорят со мной. Мистера Вэзи я знаю недавно, но, по-моему, он очень симпатичный; он всегда так прямо и искренно говорит со мной.

— Вот я как раз насчет этого и хочу с тобой потолковать, — сказал старик Хинкл. — Ты всегда уверяла, что тебе нравятся люди, которые говорят правду и не стараются тебя одурачить всякими комплиментами да враньем. Так вот — попробуй-ка, устрой испытание; увидишь, кто из них окажется искреннее всех.

— А как это сделать, папа?

— Это я тебе сейчас объясню. Ты ведь немножко поешь: почти два года училась музыке в Логанспорте. Это не так уж много, но больше мы тогда не могли себе позволить. И притом твоя учительница говорила, что голоса у тебя нет и что не стоит больше тратить деньги на уроки. Так вот ты и спроси каждого из твоих кавалеров, какого они мнения о твоем голосе; увидишь, что они тебе ответят. Тот, который решится сказать тебе правду в глаза, тот — я скажу — молодец, и с ним не страшно связать жизнь. Как тебе нравится моя выдумка?

— Прекрасно, папа, — сказала Айлин. — Это, по-моему, хорошая мысль; я попробую.

Айлин и мистер Хинкл ушли в другую комнату. Я ускользнул незамеченный и поспешил на станцию. Джекс сидел в телеграфной конторе и ждал, чтобы пробило восемь. В этот вечер и Бэд должен был приехать в город; когда он явился, я передал обоим слышанный мной разговор. Я честно поступил с моими соперниками; так всегда следует действовать всем истинным обожателям всех Айлин.

Всех нас одновременно посетила радостная мысль. Без сомнения, Вэзи после этой проверки должен выбыть из состязания. Мы хорошо помнили, как Айлин любит искренность и прямоту, как высоко ценит она правдивость и откровенность — выше всяких пустых комплиментов и ухищрений.

Мы схватились за руки и исполнили на платформе комический танец, распевая во всю глотку: «Мельдун был умный человек».

В этот вечер оказались занятыми четыре плетеные качалки, не считая той, которой выпало счастье служить опорой для изящной фигурки мисс Хинкл. Трое из нас с затаенным трепетом ждали начала испытания. Первым на очереди оказался Бэд.

— Мистер Кэннингам, — сказала Айлин со своей ослепительной улыбкой, закончив «Когда листья желтеют», — мистер Кэннингам, скажите искренно, что вы думаете о моем голосе? Честно и откровенно, — вы ведь знаете, что я всегда этого хочу.

Бэд заерзал на стуле от радости, что может выказать всю искренность, которая, как он знал, от него требовалась.

— Правду говоря, мисс Айлин, голосу-то у вас не больше, чем у зайца, — писк один. Понятно, мы все с удовольствием слушаем вас: все-таки оно как-то приятно и успокоительно действует; да к тому же и вид у вас, когда вы сидите за роялем, такой же приятный, как и с лица. Но насчет того, чтобы петь, — нет, это не пение.

Я внимательно смотрел на Айлин, опасаясь, не хватил ли Бэд через край; но ее довольная улыбка и мило высказанная благодарность убедили меня, что мы на верном пути.

— А вы что думаете, мистер Джекс? — спросила она затем.

— Мое мнение, — сказал Джеке, — что вы — не первоклассная примадонна. Я слушал их во всех городах Соединенных Штатов и знаю, как они щебечут; и я вам скажу, что голос у вас не того. В остальном вы можете сто очков вперед дать всем певицам столичной оперы, вместе взятым, — в смысле наружности, конечно. Эти колоратурные пискуньи обыкновенно похожи на расфранченных кухарок. Но в рассуждении того, чтобы полоскать горло фиоритурами, — это у вас не выходит. Голос-то у вас прихрамывает.

Выслушав критику Джекса, Айлин весело рассмеялась и перевела взгляд на меня.

Признаюсь, я слегка струхнул. Ведь искренность тоже хороша до известного предела. Быть может, я даже немного слукавил, произнося свой приговор; но все-таки я остался в лагере критиков.

— Я не большой знаток научной музыки, — сказал я, — но, откровенно говоря, не могу особенно похвалить голос, который вам дала природа. Про хорошую певицу обыкновенно говорят, что она поет, как птица. Но птицы бывают разные. Я сказал бы, что ваш голос напоминает мне голос дрозда: он горловой и не сильный, не отличается ни разнообразием, ни большим диапазоном; но все-таки он у вас... э-э... в своем роде очень... э-э... приятный и...

— Благодарю вас, мистер Гаррис, — перебила меня мисс Хинкл, — я знала, что могу положиться на вашу искренность и прямоту.

И тут Винсент С. Вэзи поправил одну из своих белоснежных манжет и разразился не потоком, а целым водопадом красноречия.

Память изменяет мне, поэтому я не могу подробно воспроизвести мастерской панегирик, который он посвятил этому бесценному сокровищу, дарованному небесами, — голосу мисс Хинкл. Вэзи восхвалял его в таких выражениях, что, будь они обращены к утренним звездам, когда те вместе затягивают свою песнь, этот звездный хор, воспылав от гордости, разразился бы дождем метеоров.

Вэзи сосчитал по своим белым пальцам всех выдающихся оперных певиц обоих континентов, начиная с Дженни Линд и кончая Эммой Эббот, и доказал как дважды два, что все они бездарны. Он говорил о голосовых связках, о грудном звуке, о фразировке, арпеджиях и прочих необычайных принадлежностях вокального искусства. Он согласился, точно нехотя, что у Дженни Линд есть нотки две-три в ее верхнем регистре, которых еще не успела приобрести мисс Хинкл, но... ведь это достигается учением и практикой!

А в заключение он торжественно предсказал блестящую артистическую карьеру для «будущей звезды Юго-Запада — звезды, которой еще будет гордиться наш родной Техас», ибо ей не найти равной во всех анналах истории музыки.

Когда мы в десять часов стали прощаться, Айлин, как обычно, тепло и сердечно пожала всем нам руку, обольстительно улыбнулась и пригласила заходить. Незаметно было, чтобы она отдавала кому-нибудь предпочтение, но трое из нас знали кое-что, знали и помалкивали.

Мы знали, что искренность и прямота одержали верх и что соперников уже не четверо, а трое.

Когда мы добрались до станции, Джекс вытащил бутылку живительной влаги, и мы отпраздновали падение наглого пришельца.

Прошло четыре дня, за которые не случилось ничего, о чем стоило бы упомянуть.

На пятый день мы с Джексом вошли под навес, собираясь поужинать. Вместо божества в белоснежной блузке и синей юбке за колючей проволокой сидел, принимая доллары, молодой мексиканец.

Мы ринулись в кухню и чуть не сбили с ног папашу Хинкла, выходившего оттуда с двумя чашками горячего кофе.

— Где Айлин? — спросили мы речитативом.

Папаша Хинкл был человеком добрым.

— Видите ли, джентльмены, — сказал он, — эта фантазия пришла ей в голову неожиданно; но деньги у меня есть — и я отпустил ее. Она уехала в Бостон, в корс... в консерваторию, на четыре года, учиться пению. А теперь разрешите мне пройти — кофе-то горячий, а пальцы у меня нежные.

В этот вечер мы уже не втроем, а вчетвером сидели на платформе, болтая ногами. Одним из четырех был Винсент С. Вэзи. Мы беседовали, а собаки лаяли на луну, которая всходила над чапарралем, напоминая размерами не то пятицентовую монету, не то бочонок с мукой.

А беседовали мы о том, что лучше — говорить женщине правду или лгать ей?

Но мы все тогда были еще молоды, и потому не пришли ни к какому заключению.

1. Американская актриса. [↑](#footnote-ref-1)
2. Французский художник. [↑](#footnote-ref-2)
3. Шотландский поэт Роберт Поллок (1789—1827) посвятил Байрону восторженные строки, ничего общего не имеющие с виршами, которые цитирует Генри. [↑](#footnote-ref-3)
4. Игнатий Донелли (1831—1901) — американский писатель, один из сторонников «Бэконианской теории», согласно которой пьесы Шекспира были написаны Фрэнсисом Бэконом. [↑](#footnote-ref-4)
5. Американские проповедники и сочинители популярных песен на религиозные темы. [↑](#footnote-ref-5)